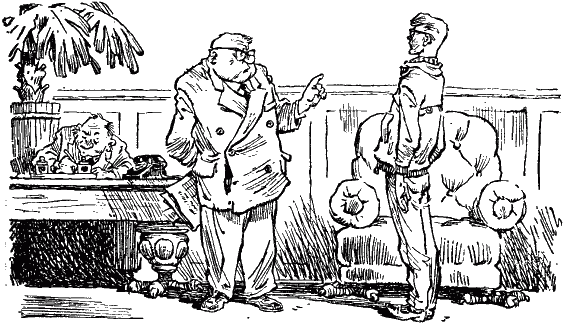
## История первая

## История вторая

## СУЕТА СУЕТ



### Глава первая

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

«Методика преподавания литературы»

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

– Привалов, – сурово сказал он, – почему вы опять не на месте?

– Как это не на месте? – обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я всё позабыл.

– Вы это прекратите, – сказал Модест Матвеевич. – Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

– Ёлки-палки, – сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамёрзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приёмной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

– Вы, Привалов, как какой-нибудь этот… хам-мункулс, – произнёс Модест. – Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» – и щёлкнул каблуками.

– Всё должны быть на своих местах, – продолжал Модест Матвеевич. – Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

– Больше не повторится! – сказал я, выкатив глаза.

– Вы это прекратите, – сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлёк из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. – Так вот, Привалов, – сказал он наконец, – сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников – занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых – противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды… – Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. – А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но всё равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всём институте чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души – пусть, но живой души чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прен-цендент: сбежал чёрт и украл луну. Широко известный прен-цендент, даже в кино отражён. – Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнёс:

– Всё верно. А то было у меня подозрение, что вы всё-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьёт чай – прекратите. Были сигналы: не чай он там пьёт. В таком вот аксепте. Пост ваш в приёмной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

– Вполне, – сказал я.

– Я буду звонить вам ночью и завтра днём. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

– Вас понял, – сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шёл лично Модест Матвеевич, третьим – товарищ завкадрами гражданин Дёмин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

– Что-нибудь недоступно? – осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

– Вот тут, – сказал я веско, тыча пальцем в список, – наличествуют товарищи в количестве… м-м-м… двадцати двух экземпляров, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. – Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твёрдо: – Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

– Всё верно, – сказал он снисходительно. – Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвёртого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было всё-таки очень трудно.

– Занимайте свой пост, – величественно сказал Модест Матвеевич. – Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчёт для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочёл мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе всё-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.

У входа в приёмную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

– Ну? – сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

– Я сегодня дежурю, – сообщил я.

– Ну и дурак, – сказал Корнеев.

– Грубый ты всё-таки, Витька, – сказал я. – Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

– А что же ты будешь? – спросил он.

– Да уж найду что, – сказал я, несколько растерявшись.

Витька вдруг оживился.

– Постой-ка, – сказал он. – Ты что, в первый раз дежуришь?

– Да.

– Ага, – сказал Витька. – И как ты намерен действовать?

– Согласно инструкции, – ответил я. – Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

– Да собирается там одна компания, – неопределённо сказал Витька. – У Верочки… А это у тебя что? – Он взял у меня список. – А, мёртвые души…

– Никого не пущу, – сказал я. – Ни живых, ни мёртвых.

– Правильное решение, – сказал Витька. – Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

– Чей дубль?

– Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

– Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я всё обесточу. В соответствии с законодательством.

– Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

– Не встречал, – сказал я. – И не забивай мне баки. В десять часов я всё обесточу.

– А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приёмной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

– Так, – произнёс он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

– Прошу, – сказал он, подавая мне ключи. – Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь… Кстати… – Он поколебался. – Я с вами не беседовал вчера?

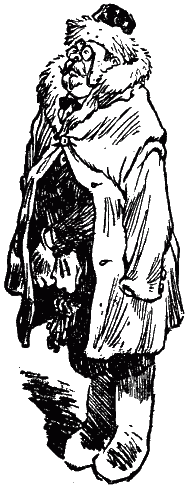
– Да, – сказал я, – вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

– Да-да, действительно… Мы говорили о практикантах…

– Нет, – возразил я почтительно, – не совсем так. Это насчёт нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

– Ах вот как, – сказал он. – Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства… Виктор Павлович, можно вас на минутку?



Он взял Витьку под руку и увёл по коридору, а я вошёл в приёмную. В приёмной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», и снова принялся позвякивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося учёного. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался учёным с мировым именем. И всё-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушёл. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался – видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приёмную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Фёдор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Фёдор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче – царе Грозном опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче – царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче – царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошёл йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачёвщины, был обвинён как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство.

– П-приветствую вас! – пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. – Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю…

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.

– Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов… Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать…

– Что вы, Фёдор Симеонович, спасибо! – вскричал я. – Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

– Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-чёрт, электроники н-ни черта не знаю… Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старьё, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив… Д-дедовские п-приёмчики…



Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

– П-проклятье, опять ч-червивое сделал… У вас как – х-хорошее? Эт' хорошо… Я к в-вам, Саша, п-попозже ещё загляну, а то я н-не совсем п-понимаю всё-таки систему к-команд… В-водки только выпью и з-зайду… Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине… Т-то ли машина врёт, то ли я н-не понимаю… Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглицки? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом ещё что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь… Аз-зимова там, или Б-брэдбери…

Он подошёл к окну и сказал восхищённо:

– П-пурга, чёрт возьми, л-люблю!..

Вошёл, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Фёдор Симеонович обернулся.

– А, К-кристо! – воскликнул он. – П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоём останемся, в-вспомянем старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками…

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

– Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий…

– Н-ну ещё бы! – загремел Фёдор Симеонович. – М-много крови, много п-песней за п-прелестных льётся дам… К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»…

– Именно, – сказал Хунта. – И потом – я не терплю благотворительности.

– Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта… Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше… С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя ещё осталось от т-толедских запасов?

– Нас ждут, Теодор, – напомнил Хунта.

– Д-да, верно… Надо ещё г-галстук найти… и валенки, такси же не д-достанешь… Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

– В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, – негромко сказал Хунта. – Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Фёдора Симеоновича вперёд и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.



Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию пору сохранил тогдашние замашки, весьма впрочем пригодившиеся ему, по слухам, во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущённо говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались – на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, – тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше – всегда и во всём. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принёс ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперёд седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

– Эта… – сказал он, приближаясь. – У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значить. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значить, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как всё, эта, поест, кидаться начнёт, значить. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

– Куда брякнуть-та? – спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было бы смело назвать евгеникой, но никто её так не называл – боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают и ежели, значить, дать человеку всё – хлебца, значить, отрубей пареных, – то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая всё, что ему не подходило. В своё время Учёный совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворённого полностью, модель Человека, неудовлетворённого желудочно, и модель Человека, полностью удовлетворённого. Полностью неудовлетворённый антропоид поспел первым – он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрёт. Как вот этот помер. Учёный совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломлённая комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селёдочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворённого желудочно. Комиссия писала отчёт, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счёт.

– Куда брякнуть-та? – спросил я.

– Брякнуть-та? А домой, куда же ещё в Новый год-та. Мораль должна быть, милай. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нёс па?

– Я знаю, что домой. По какому телефону?

– А ты, эта, в книжечку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс.

– Хорошо, – сказал я. – Брякну.

– Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнёт, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви.

Я набрался храбрости и буркнул:

– А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

– Пардон?

– Ничего, это я так, – сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

– А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар, значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зелёном пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

– Выбегалло забегалло?

– Забегалло, – сказал я.

– Н-да, – сказал он. – Это селёдка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

– А ну-ка, займись, – сказал он. – Дано: запах селёдочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура… – Он оглядел комнату. – Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов… Удаляй!

Я почесал за ухом.

– Сатурн… Что ты мне про Сатурн… А вектор магистатум какой?

– Ну, брат, – сказал Ойра-Ойра, – это ты сам должен…

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвёл, запинаясь, акустическое воздействие (произнёс заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

– Плохо, – с упрёком сказал Ойра-Ойра. – Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

– А, – сказал я, – верно. – Я учёл дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, ещё два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем уже собрался было вырвать ещё волосок, но тут обнаружилось, что приёмная проветрилась естественным путём, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

– Посредственно, – сказал он. – Займёмся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, – говорил он. – А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу – большую, жёлтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я её съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.



Тут принёс ключи бакалавр чёрной магии Магнус Фёдорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки всё совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и наконец совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по чёрной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Фёдорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное – понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза – я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, – я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашёл. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые чёрные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне как к представителю точных наук Магнус Фёдорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишённым корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Фёдорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

– Я ещё одно определение нашёл.

– Какое? – спросил я.

– Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

– Конечно, хотим, – сказал Роман.

Магнус Фёдорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочёл:

Вы спрашиваете:

Что считаю

Я наивысшим счастьем на земле?

Две вещи:

Менять вот так же состоянье духа,

Как пенни выменял бы я на шиллинг,

И

Юной девушки

Услышать пенье

Вне моего пути, но вслед за тем,

Как у меня дорогу разузнала.

– Ничего не понял, – сказал Роман. – Дайте я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

– Это Кристофер Лог. С английского.

– Отличные стихи, – сказал Роман.

Магнус Фёдорович вздохнул.

– Одни одно говорят, другие – другое.

– Тяжело, – сказал я сочувственно.

– Правда ведь? Ну как тут всё увяжешь? Девушки услышать пенье… И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да ещё только после того, как у него про дорогу спросит… Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

– Вряд ли, – сказал я. – Я бы не взялся.

– Вот видите! – подхватил Магнус Фёдорович. – А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

– А может, его вообще нет? – сказал Роман голосом кинопровокатора.

– Чего?

– Счастья.

Магнус Фёдорович сразу обиделся.

– Как же его нет, – с достоинством сказал он, – когда я сам его неоднократно испытывал?

– Выменяв пенни на шиллинг? – спросил Роман.

Магнус Фёдорович обиделся ещё больше и вырвал у него записную книжку.

– Вы ещё молодой… – начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приёмной возник Мерлин. Магнус Фёдорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» – и выбежал вон.

– Good God! – сказал Ойра-Ойра, протирая запорошённые глаза. – Canst thou not come in by usual way as decent people do?.. Sir, – добавил он.

– Beg thy pardon, – сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнёс:

– Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

– Предсказанные, – сказал Роман.

– Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

– Полезная вещь – радио, – сказал Роман.

– Я радио не слушаю, – сказал Мерлин. – У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом.

– Люстра, – сказал я, – осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:

– О вы, пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чьё спиритуальное убожество не способно подняться над мраком и хаосом мелких угрюмых забот… Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским…

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, ещё хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки ещё в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии же, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он был вновь переведён на своё место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений – и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приёмником, по слухам, похищенным ещё в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на республиканской Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньём, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королём Артуром.

– Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар… председатель сказал: «У меня нет меча». – «Не беда, – сказал ему Мерлин, – я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука, мозолистая и своя, и в той руке серп и молот. И сказал Мерлин: «Вот тот меч, о котором я говорил тебе…»

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

– Алло, – сказал я. – Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «…И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя…»

– Сэр гражданин Мерлин, – сказал я. – Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

– Алло, – снова сказал я в трубку.

– Кто у аппарата?

– А вам кого нужно? – сказал я по старой привычке.

– Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

– Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

– Вот так. Докладывайте.

– Что докладывать?

– Слушайте, Привалов. Вы опять ведёте себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему, в нарушение трудового законодательства, в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

– Это Мерлин, – сказал я.

– Гоните его в шею!

– С удовольствием, – сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» – и растаял в воздухе.)

– С удовольствием или без удовольствия – это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

Выбегалло донёс, подумал я.

– Вы почему молчите?

– Будет исполнено.

– В таком вот аксепте, – сказал Модест Матвеевич. – Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

– Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня всё», – и дал отбой.

– Ну ладно, – сказал Ойра-Ойра, застёгивая зелёное пальто. – Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я ещё забегу попозже.

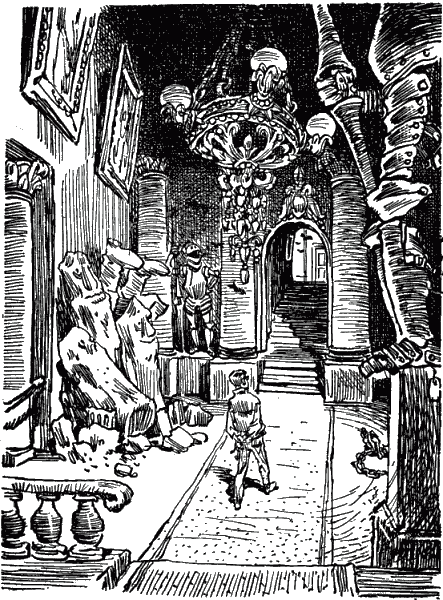
### Глава вторая

Я шёл, спускаясь в тёмные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

Ги де Мопассан

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр – в орлянку. Они занимались этим всё свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела Технического Обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошёл вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Фёдора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света, но всё было заприходовано, заинвентаризировано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.



На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, – строго сказал я. – Что ещё за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковёр и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нём было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я ещё не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убеждён, что через десять-пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Фёдора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов чёрной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купала, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали всё возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету весёлый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно, – короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Фёдора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошёл по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку варёную… Фёдор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой реабилитированный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

– С наступающим, – сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

– Благодарствуйте. И вас тоже.

– Всё в порядке? – спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

– Бриарей палец сломал, – сказал Альфред.

– Как так?

– Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко – они ж неуклюжие, гекатонхейры, – и сломал.

– Так ветеринара надо, – сказал я.

– Обойдётся! Что ему, впервые, что ли…

– Нет, так нельзя, – сказал я. – Пойдём посмотрим.

Мы прошли в глубь вивария мимо Конька-Горбунка, дремавшего мордой в торбе с овсом, мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года… Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы Неба и Земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в огромные уродливые узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решётке, и, выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал её семью другими руками. Остальными девяноста двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

– Что? – сказал я жалостливо. – Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

– Страсть как болит, – сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

– Ну-ну-ну, – сказал я, вытирая руки носовым платком. – Всё уже, всё…

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

– Кровь бы ему пустить полезно, – сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: – Да только какая в нём кровь – видимость одна. Одно слово – нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошёл обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок.) Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удалённой от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл…

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнёс:

– А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

– Руку отдавил, дылда очкастая! – сказал один.

– А ты не хватай, – сказал я. – Осины захотел?

Подбежал Альфред, щёлкая плетью, и вурдалаки убрались в тёмный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлёпать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

– Ну хорошо. По-моему, всё в порядке. Пойду дальше.

– Путь добрый, – отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Учёный совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у Колёса – вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите, – сказал я, – это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жёваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошёлся вдоль пультов и, убедившись, что всё в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремнёвое ружьё, старый дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и в треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Фёдора Симеоновича, в своё время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолётный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркитанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнемётный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привёл в дружину Карлу Великому китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолёты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придётся туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушёл исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше…» – и снова задремал. Я оглядел пустую захламлённую комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошёл прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то всё, что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идёт вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащённое верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Учёный совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 619 024 511-ти человеках разумных. Первый том начинался питекантропом Аыуыхх. («Род. 2 авг. 965 543 г. до н. э., ум. 13 янв. 965 522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-Уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Араратск. долин. Ел, пил, спал в своё удовольств. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерн. медвед. во время охоты».) Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франсиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франсиско Тринидад и Мария Тринидад (см.). Португалец. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии».)

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр и этот последний том подписан в печать ещё во время полётов братьев Монгольфье. Видимо, для того чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашёл и своё имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии ещё не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, он никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек – сам Мерлин.

Учёный совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его – сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом Учёного совета.)

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошёлся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуров», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацех». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чём держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гущи из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивлёнными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределённой улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуров.

На четвёртом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодёжи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они всё ещё называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, – руки в карманы, – унылая модель вечномолодого юнца. Её седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблёскивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростёртыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчётами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчинённого и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метаматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всём быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове всё время что-то явственно жужжало и щёлкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятеричную, да ещё менял логику, начисто отрицая принцип исключённого третьего. Фёдор же Симеонович Киврин забавлялся с машиной, как ребёнок с игрушкой. Он мог часами играть с ней в чёт-нечет, обучил её японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу – впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принёс с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушёл.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевлённый теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в пси-поле инкуб-преобразования», – несмотря на всё это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провёл все расчёты в работе Ойры-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряжённости М-поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вёл рабочую калькуляцию для подшефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было ещё рано – всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга всё не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дёргала и раскачивала редкие уличные фонари.



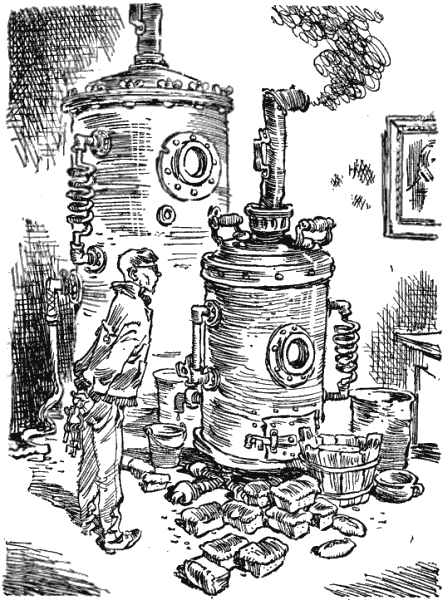
Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приёмную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободён массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, палёной шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с чёрной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нём ходила дурная слава, будто он бывший людоед, и я поспешно пошёл дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селёдочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошёлся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай – всё едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области её асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники всё время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределённостей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась всё к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значить. Компрене ву?

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображён в чёрной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль. На четвёртой стене некогда тоже висел какой-то портрет, но теперь от него остался только тёмный квадрат и три ржавых погнутых гвоздя.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу – другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные вёдра с синеватым обратом и огромный чан с пареными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селёдочные головы, но я так и не смог понять где. В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щёлкающие звуки.



Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. «По сусалам его», вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта, расписанная корявыми каббалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки – голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой Универсальных Превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов

И шкафов перетряси,

Разных книжек и журналов

По возможности неси.

Я покраснел и пошёл дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.

### Глава третья

Хочу тебя прославить,

Тебя, пробивающегося

сквозь метель зимним вечером.

Твоё сильное дыхание и

мерное биение твоего сердца…

У. Уитмен

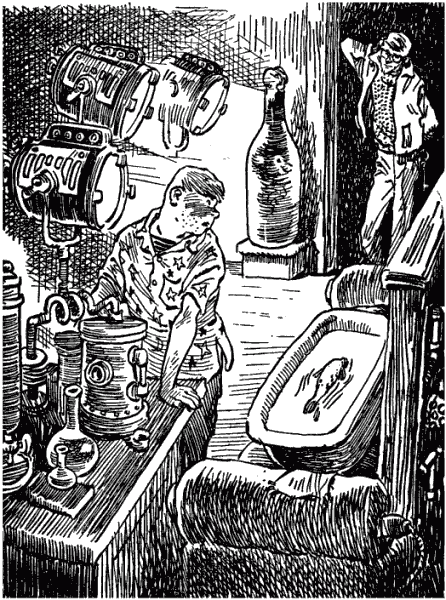
Давеча Витька сказал, что идёт в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль – это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук – он создаёт себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента – он создаёт себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, ещё не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело – даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вёл мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развёз всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломлённого директора проката.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус – это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казённой печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор ещё не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное – ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком – Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твёрдо, что понимать и не пытались.



Витькин дубль стоял, упёршись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,

Для нас наука – тёмный лес

Чудес.

А мы нормальные астр*о* номы – да!

Хватаем звёздочки с небес…

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворённые мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец – диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Ещё в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая, зелёного стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет:

В цел*я* х природы обуздания,

В цел*я* х рассеять неученья

Тьму

Берём картину мироздания – да!

И тупо смотрим, что к чему…

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом проворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, на темновых токах, а иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком-с-пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича – музейным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещённым. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Фёдорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Дёмину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы всё это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Фёдором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича.

Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чём слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведённом для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Фёдор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию. Витька был серьёзный работник, не то что шалопаи из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.

– С-скотина, – сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

– Работаем?

Дубль тупо смотрел на меня.

– Ну брось, брось, – сказал я. – Всё ясно.

Дубль молчал. Он стоял, как каменный, и не мигал.

– Ну, вот что, – сказал я. – Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Всё прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлёк маленькие острые клещи и, выразительно пощёлкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

– Н-н-ну?

– Чего ты ко мне пристал? – осведомился Витька. – Видишь ведь, что человек работает.

– Ты же дубль, – сказал я. – Не смей со мной разговаривать.

– Убери клещи, – сказал он.

– А ты не валяй дурака, – сказал я. – Тоже мне дубль.

Витька сел на край стола и устало потёр уши.

– Ничего у меня сегодня не получается, – сообщил он. – Дурак я сегодня. Дубля сотворил – получился какой-то уж совершенно безмозглый. Всё ронял, на умклайдет сел, животное… Треснул я его по шее, руку отбил… И окунь дохнет систематически.

Я подошёл к дивану и заглянул в ванну.

– А что с ним?

– А я откуда знаю?

– Где ты его взял?

– На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

– А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

– Дубина, – сказал Витька. – Вода-то живая…

– А-а, – сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запылённое снаружи.

– Протёр бы бутыль, – сказал я, ничего не придумав.

– Что?

– Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

– Чёрт с ним, пусть скучает, – рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил.

– Видал? – сказал Витька. – Когда даю максимальное напряжение – всё в порядке.

– Экземпляр неудачный, – сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

– Экземпляр… – сказал он. – Неудачный… – Глаза у него стали как у дубля. – Экземпляр экземпляру люпус эст…

– Потом он, наверное, мороженый, – сказал я, осмелев.

Витька меня не слушал.

– Где бы рыбу взять? – сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. – Рыбочку бы…

– Зачем? – спросил я.

– Верно, – сказал Витька. – Зачем? Раз нет другой рыбы, – рассудительно произнёс он, – почему бы не взять другую воду? Верно?

– Э, нет, – возразил я. – Так не пойдёт.

– А как? – жадно спросил Витька.

– Выметайся отсюда, – сказал я. – Покинь помещение.

– Куда?

– Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгрёб меня за грудки.

– Ты меня слушай, понял? – сказал он угрожающе. – На свете нет ничего одинакового. Всё распределяется по гауссиане. Вода воде рознь… Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств…

– Эй, милый, – позвал я его. – Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

– Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он…

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

– Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждёт!

– Не, – отвечал он. – Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый… Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол…

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

– Выметайся, говорят тебе! – заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлечённые работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдёт. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протёр джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и тёмного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шёл изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошёл сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

– Какого дьявола? – вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Фёдора Симеоновича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твёрдым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

– А, Саша, – приветливо сказал Эдик. – Здравствуй, Саша.

– Сашка, посторонись с дороги! – крикнул Володя Почкин, пятясь задом. – Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

– Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

– Через дверь, через дверь, пусти… – сказал Володя. – Эдька, ещё правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, – бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. – Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!» Макродемоны Вход и Выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил её для одной вечеринки и держал за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль всё шли и шли покрытые снегом, краснолицые весёлые сотрудники.

– Ну и метёт! Все уши забило…

– А ты тоже ушёл?

– Да ну, скукотища… Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушёл…

– Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки – не помогает…

– А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов…

– Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну давай хоть газовый…

– Галка, как же это ты мужа оставила?

– Я ещё час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня…

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось только пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрёл вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приёмную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытом сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мёртвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

– Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду… Ой-йой-йой… Ну я уже совсем тихий…

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошёл к ним.

– А, Сашка!

– Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня… Я к тебе потом забегу в зал.

– Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты…

Я был ошеломлён и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джян бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлёвские часы принялись бить двенадцать.

– Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

– Кто творил вино?

– Я.

– Не забудь завтра заплатить.

– Ну что, ещё бутылочку?

– Хватит, простудимся.

– Хороший джинн попался… Нервный немножко.

– Дарёному коню…

– Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

– Ребята, – робко сказал я, – ночь на дворе… и праздник. Шли бы вы по домам…

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдёт», – и гурьбой двинулись к вольеру… Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристёгивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжёлый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молнии. Все имеющиеся в институте щиты были изъяты в своё время из сокровищницы царицы Савской. Сделал это не то Кристобаль Хунта, не то Мерлин. Хунта об этом никогда не говорил, а Мерлин хвастался при каждом удобном случае, ссылаясь при этом на сомнительный авторитет короля Артура. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней – всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолёта, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застёжками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев… Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней лёгкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было – «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чём именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что, так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела), а что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт предоставлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь всё зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек – переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на всё рукой («Живём один раз», «Надо брать от жизни всё», «Ничто человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остаётся одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он ещё может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жёсткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих ещё можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно ещё надеяться вернуть им человеческий облик…

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчётливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. Они носят корсеты из драконьего уса, скрывающие искривление позвоночника, они закутываются в гигантские средневековые мантии и боярские шубы, провозглашая верность национальной старине. Они во всеуслышание жалуются на застарелые ревматизмы и зимой и летом носят высокие валенки, подбитые кожей. Они неразборчивы в средствах и терпеливы, как пауки. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своём основном деле – в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой под напряжением…

Я вернулся на свой пост в приёмную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочёл несколько страниц из классического труда Я. П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешёнными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

– Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

– С Новым годом, Модест Матвеевич, – сказал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

– Соответственно. Как дежурство?

– Только что обошёл помещения, – сказал я. – Всё нормально.

– Самовозгораний не было?

– Никак нет.

– Везде обесточено?

– Бриарей палец сломал, – сказал я.

Он встревожился.

– Бриарей? Постойте… Ага, инвентарный номер 1489… Почему?

Я объяснил.

– Что вы предприняли?

Я рассказал.

– Правильное решение, – сказал Модест Матвеевич. – Продолжайте дежурить. У меня всё.

Сразу после Модеста Матвеевича позвонил Эдик Амперян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашёл дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

– Давай ключи.

Я помотал головой.

– Не дам.

– Давай ключи!

– Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.

– Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

– Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорён, либо привинчен к полу.

– А что тебе там нужно? – спросил я.

– Документация на РУ-16, – сказал Роман. – Ну дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донёсся откуда-то сверху. Я вскочил.

### Глава четвёртая

Горе! Малый я не сильный;

Съест упырь меня совсем…

А. С. Пушкин

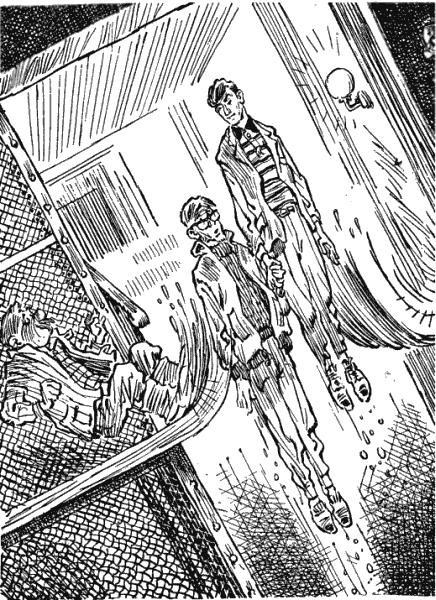
– Вылупился, – спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

– Кто? – Мне было не по себе: крик был женский.

– Выбегаллов упырь, – сказал Роман. – Точнее, кадавр.

– А почему женщина кричала?

– А вот увидишь, – сказал Роман.



Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замёрзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы, вперемежку с мышами, с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблёскивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и вёдра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе всё ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнёс неразборчиво:

– Эй, девка… эта… молока давай! Лей, значить, прямо сюда, в отрубя… Силь ву пле, значить…

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

– Эх! – воскликнул профессор Выбегалло. – Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из чана кушать…

Стелла стала опрокидывать вёдра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

– Да позвоните же ему! – жалобно закричала Стелла. – Он же сейчас всё доест!

– Звонили уже, – сказали в толпе. – Ты лучше от него отойди всё-таки. Ступай сюда.

– Ну, он придёт? Придёт?

– Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чём дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорождённый кадавр, модель Человека, неудовлетворённого желудочно. И слава богу, а то я уж было подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряжённых занятий.

Стелла осторожненько отошла. Её схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал ещё, в чём дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясённая тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребёт кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и её вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнёс:

– Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

– Ещё селёдочные головы есть…

– Много?

– Две тонны.

– М-да, – сказал Эдик. – И где же они?

– Они должны подаваться по конвейеру, – сказала Стелла. – Но я пробовала, а конвейер сломан…

– Между прочим, – сказал Роман громко, – уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно…

– Я тоже, – сказал Эдик.

– Поэтому, – сказал Роман, – было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь ещё из магистров? Эдика я вижу. Ещё кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

– Нет его. Может быть, за Фёдором Симеоновичем сбегать?

– Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

– В каком режиме?

– В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

– Одну минутку, – сказал Эдик. – А если мы его повредим?

– Да-да-да, – сказал я. – Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрёт.

– Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

– Начали, – сказал Эдик.

Стало ещё тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утёр бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся наконец до желанной постели.

– Подействовало, кажется, – с облегчённым вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

– У меня нет такого впечатления, – вежливо сказал Эдик.

– Может быть, у него завод кончился? – сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

– Это просто релаксация… Пароксизм довольства. Он скоро опять проснётся.

– Слабаки вы, магистры, – сказал мужественный голос. – Пустите-ка меня, пойду Фёдора Симеоновича позову.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете, и я с надеждой вспоминал защищённую в прошлом месяце магистерскую диссертацию «О соотношении законов природы и законов администрации», где в частности доказывалось, что сплошь и рядом административные законы в силу своей специфической непреклонности оказываются действеннее природных и магических закономерностей. Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» – как упырь немедленно бы прекратил.

– Роман, – сказал я небрежно, – я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

– Не трусь, – сказал он. – Это всё игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота… Этого ты не бойся, ты вон того бойся! – Он указал на второй автоклав, мирно пощёлкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми вёдрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

– Ну, держись, ребята… – прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел её со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил ещё кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно бы от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошёлся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд – оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнёс: «Но-но, тихо, ты…» И тут пустые прозрачные глаза упёрлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приёмной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

– Милай! – закричал он. – Что же это, а? Кель сетуасьен! Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селёдка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

– Потребности надо удовлетворять! – говорил он, торопливо щёлкая переключателями на пульте конвейера. – Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам!.. Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорён. Чтоб, значить, не всякому пользоваться, потому что, эта, потребности у всех, а селёдка – для модели…

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селёдочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегчённо вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привёл с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые – Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звёздное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный учёный, он был немногословен…» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в чёрную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

– Главное – что? – с готовностью провозгласил Выбегалло. – Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, всё, что хочет, а хочет всё, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может всё, что хочет, а хочет всё, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, эксви, шармант. И ещё, товарищи, вы сами видите, что она может. И это ещё лучше, потому что раз так, то она… он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Благодаря заботам и правильному к тебе отношению. Вот оно сейчас просыпается… Оно хочет. И потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может… Вы, там, товарищ Питомник, свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс… здесь у нас всё в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент… Вы, товарищ Проницательный, всё, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю… Вот теперь оно дремлет, но это ещё не всё. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. Он ди ке, Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идёт впереди, а духовное идёт позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур. Что мы, применительно к данному случаю, переведём так: голодной куме всё хлеб на уме…

– Наоборот, – сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

– Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметём с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного – от практики. Оставим теорию лицам, в ней недостаточно подкованным. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету… Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчёт духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку её рациональное зерно есть желудочная неудовлетворённость. Но эти духспособности мы сейчас у неё вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприёмник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей…» Радиоприёмник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух…

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился всё-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприёмника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

– Ногу! – закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. – Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьён са моле гош этюн гранд синь! Эта нога отметёт все происки и сорвёт все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот, человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, всё великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно – только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей – модель потребности желудочной. Потому у неё такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что ещё с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка – надо её слушать или там танцевать… А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компрене ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нём что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него всё сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

– Разрешите вопрос, – вежливо сказал Эдик. – Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

– Отвечаю, – самодовольно сказал он. – Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо всё время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать – это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Фёдора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

– Ещё вопрос можно? – сказал Роман.

– Прошу, – сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

– Амвросий Амбруазович, – сказал Роман, – а что будет, когда оно всё потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

– Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизьмом, экзистенцио… оа… нализьмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

– Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

– Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, – сказал он. – Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит… Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! – обратился он прямо к корреспонденту. – Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! – Он подошёл ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. – Вот наш идеал! – провозгласил он. – Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и всё, соответственно, может. Все потребности в нём заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключённая в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всём нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмёт от природы всё, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворённости. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы всё ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все её потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

– Простите, – вежливо сказал Эдик, – и все её потребности будут материальными?

– Ну разумеется! – вскричал Выбегалло. – Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду…» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца…

– Амвросий Амбруазович, – сказал Ойра-Ойра. – А может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?

Выбегалло задумался, но только на секунду.

– Это не есть матпотребность, – ответил он. – Это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значить, капризничали.

– Каприз тоже может быть потребностью, – возразил Ойра-Ойра.

– Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, – предложил Выбегалло. – И не будем проводить церковномистических аналогий.

– Не будем, – сказал Ойра-Ойра.

Б. Питомник сердито оглянулся на него и снова обратился к Выбегалле:

– А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

– Ответ, – сказал Выбегалло. – Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.

– Но это будет в ближайшие дни?

– Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Фёдора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

– Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да ещё в центре города, опасно?

– Нам опасаться нечего, – веско сказал Выбегалло. – Пусть наши враги, эта, опасаются.

– Помните, я говорил вам, что возможна…

– Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще…

– Всё-таки, может быть, на полигоне…

– Я испытываю не бомбу, – высокомерно сказал Выбегалло. – Я испытываю модель идеального человека. Какие будут ещё вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Чёрная пара на нём потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

– Есть предложение. Всем, лично не заинтересованным, немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

– Сейчас здесь будет очень грязно, – пояснил он. – До невозможности грязно.

– Это провокация, – с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле – нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

– В чём дело? – спрашивали Романа. – Что будет? Почему грязно?

– Сейчас он рванёт, – отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

– Кто рванёт? Выбегалло?

– Корреспондентов жалко, – сказал Эдик. – Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми вёдрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте я помогу, тяжело ведь…»

– Двери закройте, – посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошёл к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

– Ну, сейчас будет… – сказал он. – Проницательный дурак, я ему подмигивал… Как он жрёт!.. С ума сойти, как он жрёт…

– Сейчас двадцать пять минут третьего… – начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стёкла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись. Стелла опять взвизгнула.

– Спокойно, – сказал Роман. – Уже всё. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

– Надо посмотреть, что ли…

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шёпотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать…»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

### Глава пятая

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. Рабле

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом:

– Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже всё опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить… Есть, есть в вас, товарищи, эдакий нездоровый, значить, скептицизьм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы…

Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. Проницательного била крупная дрожь. Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стёкла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что всё в порядке. «Прессу прошу ко мне, – сказал он. – Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушёл Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушёл Эдик, окружённый толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвёл на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приёмной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста всё это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишённым возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнурённых командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвящённым заумными и тоскливо-непонятными. Люди, далёкие от науки, в наше время ждут от неё чуда и только чуда и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой Проблемы Ауэрса! Её решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он ещё новенького открыл?..») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести-триста человек на всём земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и – увы! – нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовнёй, произвёл в своё время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие вёдра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» – заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнёс формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. Вот так возникают нездоровые сенсации, подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить ещё один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще, я пока ещё очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать своё невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в неё свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнёс все необходимые выражения на древнехалдейском. Всё-таки учение и труд всё перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Всё у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колёса Фортуны – не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нём, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку чёрного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошёл, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать всё сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошёл по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с чёрной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подёргиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошёл в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал ещё раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчётливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом – сливочным, из хрустальной маслёнки – и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопчёная. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, – сказал я себе, – ты съел тысячи бутербродов, и ты неспособен сколько-нибудь отчётливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачёт, не контрольная и не экзамен. Попробуй ещё раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение моё почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приёмная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и всё время дрались. Я затравленно озирался. Всё это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жёсткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с чёрной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял её обеими руками и понюхал. По-моему, это были чёрные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнёс: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошёл к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворённую мною кунсткамеру. За ним последовали Фёдор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой чёрной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегчённым вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне всё-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

– Начнём с того, – с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, – что ваш, простите, «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моём кабинете вставят вылетевшие стёкла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений…

– Это, дорогой, моё дело, чем я у себя занимаюсь, – отвечал Выбегалло фальцетом. – Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь текёт живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от неё заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

– Г-голубчик, – пророкотал Фёдор Симеонович, – Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во в-внимание в-возможные осложнения… В-ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и…

– У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека – и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

– Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить…

– Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Фёдор Симеонович!

– Я г-говорю о д-драконе…

– А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Фёдор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия… между умственным и физическим… между городом и деревней… между мужчиной и женщиной, наконец… Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Фёдор Симеонович!

– К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амб-бруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

– Я-то всё понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

– Амвросий Амбруазович, – сказал Роман, – я могу ещё раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому…

– Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

– Да не идеальный человек! – заорал он. – А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

– Как вы сказали? – страшным голосом осведомился Выбегалло. – Повторите. Как вы назвали идеального человека?

– Ян-нус Полуэктович, – сказал Фёдор Симеонович, – так, друг мой, нельзя всё-таки…

– Нельзя! – воскликнул Выбегалло. – Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта, царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Фёдор Симеонович, вы же простые русские люди!

– П-прекратите д-демагогию! – взорвался наконец и Фёдор Симеонович. – К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое – п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

– Я могу сказать только одно, – равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич. – Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

– И н-не ближе пяти к-километров от г-города, – добавил Фёдор Симеонович. – Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

– Так, – сказал он, – понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо на десять тысяч километров, Фёдор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем!

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Фёдор Симеонович, потерявший дар слова.

– Лет триста назад, – холодно произнёс Хунта, – за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь.

– Нечего, нечего, – сказал Выбегалло. – Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приёмную вышел бледный, оскаленный Роман и, щёлкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

– А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, – неожиданно спокойным голосом произнёс Фёдор Симеонович. – Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

– Критики, критики не любите, – отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут наконец заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондоновских капитанов.

– Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведён сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была всё-таки несомненно странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты.

– Я пойду вызову машину, – сказал вдруг Роман и, вероятно, прошёл сквозь стену, потому что в приёмной не появился.

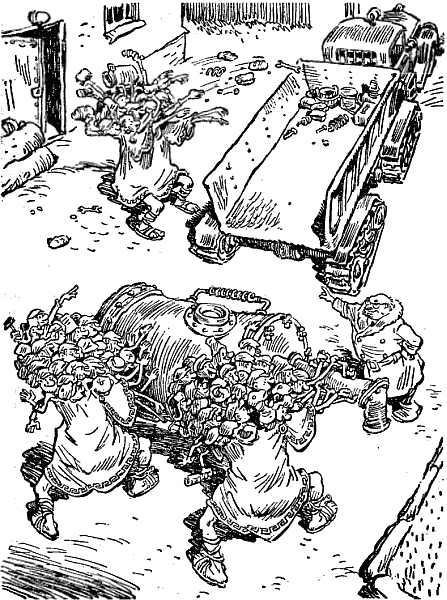
Фёдор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивнули головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

– Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжёлый, значить, пять тонн всё-таки…

– Конечно, – сказал Янус. – Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто ещё оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.



Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привёл грузчиков – гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживлённо галдя сотней глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперёд корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес – всё остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперёд, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло! Пошло!» или «Правее бери! Зацепляешься!». В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвёл его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик наконец уехал.

Институт опустел. Была половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но, делать нечего – я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шёл по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном. Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

– С Новым годом, – сказал я.

– С Новым годом, – приветливо отозвался Эдик.

– Вот пусть Сашка скажет, – предложил Корнеев. – Саша, бывает небелковая жизнь?

– Не знаю, – сказал я. – Не видел. А что?

– Что значит – не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряжённость его рассчитываешь.

– Ну и что? – сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. – Витька, – сказал я, – получилось всё-таки?

– Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, – сказал Эдик. – И он прав.

– Без белка жить можно, – сказал я, – а вот как он живёт без потрохов?

– А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, – сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

– Я говорю, что жизнь – это белок, – возразил Эдик.

– Не ощущаю разницы, – сказал Витька. – Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

– Да.

– Ну, а это что? – спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

– Ах, – сказал он и снова лёг. – Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный – это небелковое существо?

– А что тебе надо? – спросил Корнеев. – Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Ёж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

– Нежить не есть жизнь, – сказал Эдик. – Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

– Хорошо, – сказал Витька.

Ёж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щёлкнул маленькими пальчиками и создал микродубля ещё меньшего размера. Тот тоже щёлкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом – с напёрсток.

– Хватит? – спросил Витька. – Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

– Неудачный пример, – сказал Эдик с сожалением. – Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

– Много ты знаешь об эволюции, – сказал грубый Корнеев. – Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Пра-пра-праматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некоторая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы – создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы – это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть…

– Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

– Именно, – сказал Витька.

– А мы все за ненадобностью вымерли.

– А почему бы и нет? – сказал Витька.

– У меня есть один знакомый, – сказал Эдик. – Он утверждает, будто человек – это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

– А почему бы, в конце концов, и нет?

– А потому, что мне не хочется, – сказал Эдик. – У природы свои цели, а у меня свои.

– Антропоцентрист, – сказал Витька с отвращением.

– Да, – гордо сказал Эдик.

– С антропоцентристами дискутировать не желаю, – сказал грубый Корнеев.

– Тогда давай рассказывать анекдоты, – спокойно предложил Эдик и сунул в рот ещё один леденец.



Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

– Ребятишечки, – сказал я с искусственным оживлением. – Что же это вы не пошли на полигон?

– А зачем? – спросил Эдик.

– Ну, всё-таки интересно…

– Я никогда не хожу в цирк, – сказал Эдик. – Кроме того: уби нил валес, иби нил велис.

– Это ты о себе? – спросил Витька.

– Нет. Это я о Выбегалле.

– Ребятишечки, – сказал я, – я ужасно люблю цирк. Не всё ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

– То есть? – сказал Витька.

– Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

– А что надо делать?

– Обесточивать, гасить пожары и всем напоминать про трудовое законодательство.

– Холодно, – напомнил Витька. – Мороз. Выбегалло.

– Очень хочется, – сказал я. – Очень всё это таинственно.

– Отпустим ребёнка? – спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

– Идите, Привалов, – сказал Витька. – Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

– Два, – сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

– Пять, – нахально сказал Витька.

– Ну три, – сказал я. – Я и так всё время на тебя работаю.

– Шесть, – хладнокровно сказал Витька.

– Витя, – сказал Эдик, – у тебя на ушах отрастёт шерсть.

– Рыжая, – сказал я злорадно. – Может быть, даже с прозеленью.

– Ладно уж, – сказал Витька, – иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приёмную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперёд.

На полигоне уже всё было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Фёдор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноктарами в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Проницательный, увешанный фото – и киноаппаратами, тёр замёрзшие щёки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звёзд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчётливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

– Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться… Пишите, пишите, – сказал он Б. Питомнику. – И поточнее пишите… Автоматически, значить, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека – шевалье, значить, сан пёр э сан репрош… Мы будем иметь здесь наш образец, наш символ, нашу крылатую мечту! И мы, товарищи, должны встретить этого гиганта потребностей и способностей соответствующим образом, без дискуссий, мелких дрязг и других выпадов. Чтобы наш дорогой гигант увидел нас какие мы есть на самом деле в едином строю и сплочёнными рядами. Спрячем же, товарищи, наши родимые пятна, у кого они ещё пока есть, и протянем руку своей мечте!

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звёзд, струя пара.

– Даю пояснение для прессы… – начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рёв.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рёв всё усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко, гигантской чашей в мёртвом свете луны ползёт, заворачиваясь вовнутрь, край горизонта, как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалянные в снегу зрители. Я увидел, как Фёдор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвёт защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной, подобно огромным мыльным пузырям, и лопаются в звёздном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упёршись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещённое изнутри красным, тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался всё круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своём зелёном пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным стеклом, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искажённая бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжёлым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, придя в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалёку от грузовика.

Снег пропал. Всё поле вокруг было чёрным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из неё поднимался белый дымок и пахло палёным.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплёвывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил…», «Ой, а у меня колечко пропало… И браслет!», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что всё это значит?», «Да чёрт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв… Джинн… А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свёртку пространства, я эти шутки знаю…», «Холодно в майке, дайте что-нибудь…», «Г-где же этот Выб-бегалло? Где этот д-дурак?».

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

– Поясняю для прессы, – сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Фёдорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

– Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

– В полном соответствии с программой… – бормотал Выбегалло, озираясь. – Наш дорогой исполин…

На него надвинулся Фёдор Симеонович.

– Вы, м-милейший, з-зарываете свой т-талант в землю. В-вами надо отдел Об-боронной Магии усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх аг-грессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошёл Кристобаль Хозевич, молча меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

– Это же феноменально, сеньоры! Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я и представить себе не мог…

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что всё идёт далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твёрдыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

– Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

– И моё обручальное кольцо, – добавил Б. Питомник.

– Пардон, – сказал Выбегалло с достоинством. – Он ву демандера канд он ура безуан де ву. Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошёл к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

– Чего здесь только нет… – сказал он ещё издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было всё остальное и ещё многое сверх того. Там были фото– и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Фёдоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулёвского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», – сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешённый Магнус Фёдорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалёв. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалёв ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашёл огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие всё в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понёс демагогическую ахинею насчёт неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мёрз.

– Пошли домой, – сказал Роман.

– Пошли, – сказал я. – Откуда ты взял джинна?

– Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

– А что всё-таки произошло? Он опять обожрался?

– Нет, просто Выбегалло дурак, – сказал Роман.

– Это понятно, – сказал я. – Но откуда катаклизм?

– Всё отсюда же, – сказал Роман. – Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребёт все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернёт пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

– Это всё зола, – продолжал он, когда мы подлетели к институту. – Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что всё получится именно так, а не иначе? Он же всё это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше…

– Действительно, – сказал я. – Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

– Странно, верно? – сказал Роман. – Надо бы всё это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всём разобраться.

Но это уже совсем другая история.

